

И. ГУБЕРМАН О ЕВРЕЯХ

<https://isroe.co.il> › Еврейский юмор
Лучшие еврейские гарики - IsraLove

Честно сказать, мне связываться с этой темой вовсе не хотелось. Все, что я думаю о нас, я изложил (и продолжаю, слава Б-гу) в своих стихах. К тому же мы обидчиво чутки к любой попытке нас затронуть даже словом – это более всего похоже на чувствительность дворовых кошек: чуть напрягшись, они следят за вашим малейшим жестом, но с места не уходят.

Да к тому же столько понаписано про нас – и за, и против, и негодующее против против, только ситуация по-прежнему та же, что была многие века до нас. Цивилизация то сглаживает ее, то дикий смерч опять вздымается до неба, явно Б-га не тревожа, ибо Он давно уже пустил наши дела на самотек. Ну, словом, не хотел. Но как-то раз попались мне заметки (пышно именованные «эссе») одного российского прозаика. Что он еврей, я догадался бы легко, даже его не зная: только еврей может копать так самозабвенно в темной русской истории отошедших веков. А в заметках (прошу прощения – в эссе) затронул автор забавную для него (не более того) тему своего еврейства. Простодушно написав, что в нем шевелится какая-то смутная нежность, когда, идя случайно мимо синагоги (из Исторической, он подчеркнул, библиотеки, где споднизу копал историю России), видит он замшелых стариков при бородах и часто даже пейзах. Это легкое чувство, овевающее вдруг его светлую душу, совершенно сродни той нежности, сообщил нам автор, что ощущает он к соболельщикам своей любимой футбольной команды. Тут я что-то разозлился, хоть, конечно, был неправ, ибо любой человек имеет право на любое чувство, честь и хвала прозаику, который их описывает честно и открыто. Хотя есть еще прекрасная возможность промолчать, но мы ею пользуемся редко. Я даже вспыхнул, чтобы написать ему что-нибудь язвительное, но быстро передумал. С какой бы стати мне ему писать? Он – известный русский прозаик, а я простой еврейский никто. Его Россия полностью впитала и переварила (ассимилировала – мечта множества евреев), а меня исторгла, как кит – Иону, и правильно сделала, поскольку переваривался я довольно плохо (хотя, видит Б-г – хотел по молодости лет). Я все это чуть позже вспомнил, когда в Москве поехал навестить родителей на еврейское кладбище в Вострякове. Хрестоматийно русские березы и осины тихо шелестели листьями на ветру, и евреи, привозимые сюда, достигли уже полной ассимиляции, словно некие подберезовики и подосиновики. Именно здесь я вдруг отчетливо сообразил, что двигали моей воздержанностью не лень и не гордыня застенчивости, а памятное мне событие (употребленное слово – не преувеличение), некая давнишняя история...

Не написал я свой заведомо бессмысленный укор, поскольку много лет назад оказался в числе первых слушателей того известного письма, что написал некогда историк Натан Эйдельман известному русскому прозаику Виктору Астафьеву. Я к Тонику Эйдельману всегда испытывал невероятное (и редкостное для меня) почтение, что дружеским отношениям изрядно мешало, но ничего с собой поделывать я не мог. А тут – решительно, хотя несвязно и неубедительно, – стал возражать. Многие помнят, наверно, что письмо это упрекало Астафьева в некорректности к национальным чувствам грузин – да еще тех, чьим гостеприимством Астафьев пользовался, будучи в их краях. Я сказал Тонику, что письмо это (еще покуда не отправленное в Красноярск) неловко выглядит – как некое нравоучение провинциального зануды большому столичному лицу со смиренной просьбой быть повежливее в выражении своих мыслей. Я говорил и чувствовал, что говорю что-то не то, и был я справедливо не услышан. А через короткое время (уже и свой ответ Астафьев написал, уже известны стали эти письма и повсюду обсуждались) ехал я из города Пярну, возвращаясь домой в Москву, а так как приютивший

меня в Пярну (прописавший у себя, чем жизненно помог) Давид Самойлов собирался в Таллин, то и я с ним увязался на автобус. Поэта Самойлова радостно и любовно встречали местные журналисты; мы очень быстро оказались на какой-то кухне, где был уже накрыт стол для утреннего чаепития, но Давид Самойлович сказал свои коронные слова, что счастлив чаю, ибо не пил его со школьного времени, и на столе явились разные напитки. Хозяев очень волновала упомянутая переписка, они сразу же о ней спросили, я было встрял с рассказом (Давид Самойлович был сильно пьян, в тот день мы начали очень рано), но старик царственно осадил меня, заявив, что он все передаст идеально кратко. И сказал:

– В этом письме Тоник просил Астафьева, чтоб тот под видом оскорбления грузин не обижал евреев.

И я сомлел от восхищенного согласия. Именно это я пытался сказать Тонику тогда, но все никак не мог сообразить, что именно хотел я высказать.

Ответ на то письмо тогда последовал отменный, до сих пор со смутным удовольствием я перечитываю послание Астафьева, когда оно мне снова попадает. Это была высокая наотмашь отповедь коренного россиянина – случайному и лишнему в этой стране еврею. И самый размах обильно выплеснувшейся державно-почвенной злобы, и детали – все в нем было замечательно. А строки, напоенные сарказмом, непременно приведу, их надо нам читать и перечитывать:

«Возрождаясь, мы можем прийти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам “эсперанто”, тонко названном “литературным языком”. В своих шовинистических устремлениях мы можем прийти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, – собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже приберем к рукам, и о, ужас! О, кошмар! Сами прокомментируем “Дневники” Достоевского».

Поеживаюсь и сейчас, перепечатывая это. Кто мешает ущемленным местным людям писать свои песни? А разве, чтобы стать пушкиноведом, нужно что-нибудь еще, кроме способностей и готовности к нищенской зарплате где-нибудь в музее? Раздражает бедного прозаика сам факт еврейского участия в перечисленном. И что-то это мне напоминало. Спихватился, осознав, что это я читаю перепев того письма, что на заре века, за восемьдесят лет до Астафьева, написал прозаик Куприн своему другу Батюшкову. Он тоже гневно сетовал на вторжение евреев в область языка и литературы. Комментируя активность этого вторжения, Куприн цитирует самого себя: «ибо, как сказал один очень недурной беллетрист, Куприн, каждый еврей рождается на свет с предначертанной миссией быть русским писателем». Далее – подробный состав преступления:

«Ведь никто, как они, внесли в прелестный русский язык сотни немецких, французских, торгово-условных, телеграфно сокращенных, нелепых и противных слов... Они внесли припадочную истеричность и пристрастность в критику и рецензию...»

Как одинакова мелодия, заметили? И столь же ярко выдохнул Куприн свою заветную мечту:

«Эх! Писали бы вы, паразиты, на своем говенном жаргоне и читали бы сами себе вслух свои вопли. И оставили бы совсем-совсем русскую литературу».

Больше не могу цитировать, до слез становится мне жалко двух замечательных писателей, обравивших начало и конец века своими справедливыми печальями. И сокрушенно бьется мое сердце, влага виноватости готова застелить глаза, но я ничем помочь им не могу. А как за время между этими двумя посланиями-близнецами вторглись наглые евреи в, например, поэзию российскую! Втесались и втемяшились настолько, что стали гордостью и чуть не символами ее величия. Ничего я не могу поделаться ни для светлой тени Куприна, ни для Астафьева. Я как бы чуть помог, ведь лично я уехал, только продолжаю компрометировать великий и могучий своим участием. И тут, подобно Блоку, некогда исторгшему из тонкой своей лиры зверский рык («Да, скифы – мы!

Да, азиаты – мы, с раскосыми и жадными очами!»), я хочу сказать, ничуть не виноваться, как бы о стихии говоря, – о талантливости народа моего в письменности любого коренного населения. А что, кстати, поделаться с фактом, что и упомянутый великий Блок – еврей по папе? А куда мы Фета денем?

Горе той литературе, где мечтают об отделе кадров. Тем более что мечтают попусту и зря, поскольку все равно ведь продолжается и длится обсуждаемая горькая беда. Евреи сочиняют песни, и они становятся народными, высказывают пронизательные и тонкие суждения о Пушкине и Достоевском, пишут для театра, и в театрах совершаются аншлаги, над статьями в энциклопедиях корпят – и чувствуют себя при этом совершенно русскими людьми. Как некогда в Испании, Германии – везде было одно и то же. И смотреть на это – мерзко и противно лучшим представителям народа коренного. Ибо ясно им, что не будь этих проницательных инородцев, сами стали бы писаться песни, составляться словари, исследоваться Лермонтов и они сами. Как же я их, бедных, понимаю! С подлой целью растворились эти пакостные юркие приспособленцы в русском народе – делать некую работу, почему-то никому не нужную, пока они не взялись за нее. И как им хорошо, заразам, несмотря на нищенскую плату! Все ради того, чтоб слиться с благородным местным населением. И ничего тут больше не добавишь – от душевного бессилия и легкой тошноты. И лучше поплетусь я снова по наклонному пути моей гордыни.

Забавно, что жажда раствориться и слиться с коренным населением тесно и как ни в чем не бывало соседствует с тайно-сладким ощущением своей причастности к великому народу. Более того, две эти полярные страсти взаимно разжигают друг друга. Был некогда такой писатель – Александр Поповский. То, что я о нем думаю, вслух я никогда не скажу, ибо дружу с его сыном, да и судить – не мое право, судит время, и полная мгновенная забытость – лучший суд. Однако пояснить – необходимо. Этот писатель посвятил свою жизнь русской науке – не было, пожалуй, в ней за весь советский период ни одного крупного прохиндея, о котором Александр Поповский не написал бы восторженного романа. Так что в этом смысле он высоким был державным патриотом современной ему земли русской. Слава Б-гу, такие люди обычно бездарны – кажется порой, что некто сверху все-таки следит за справедливостью. И, разумеется, он процветал настолько, что даже оставалось у него свободное время для просто чтения. Ибо где-то в конце пятидесятых, встретив в писательском поселке знакомую пару, он им не без удивления сказал (уже за шестьдесят ему было крепко):

– Слушайте, на днях прочел я, наконец, «Войну и мир» – и вправду хорошо писал Толстой!

А я как-то к нему зашел по чьему-то поручению и ушел, восторженное изумление переживая. Старик, оказывается, много лет собирал фотографии знаменитых евреев – густо усеивали они стены его дома. Их рассматривая, неожиданные узнавал я лица, слыша от хозяина авторитетные подтверждения, ибо наводил он справки, не жалея времени и сил. Впервые я узнал, что мной читавшийся тогда захлеб великий итальянский психиатр Чезаре Ломброзо – еврей, и что еврей – король шпионов англичанин Сидней Рейли. Оживившись от восторга моего, старик мне рассказал историю, которая теперь всю жизнь со мной как некий праздник поучительного лаконизма. Когда канадский физиолог Ганс Селье (который ввел понятие о стрессе – нынче этим словом не пользуются только немые младенцы) получил за свои работы Нобелевскую премию, то первое письмо, пришедшее к нему, было из Советского Союза. Некий заведомо ему неизвестный Александр Поповский посылал запрос. Цитирую дословно, ибо помню и буду помнить всегда:

«Глубокоуважаемый господин Ганс Селье! До меня дошли сведения, что вы – еврей из Венгрии по материнской линии. В случае, если это так, прошу прислать мне вашу фотографию размером девять на двенадцать и биографию в пол тетрадного листа. В случае, если это не так, сердечно поздравляю вас с получением высокой награды».

Ах, чтоб я так писал, давно уже подумал я. И снова, как тогда впервые, так я помягчил сейчас душой от этого неприхотливого письма, что вот уже мне стыдно стало: что я привязался, старый идиот, к этому известному прозаику русскому, к замечательному русскому писателю Астафьеву, к несчастному Поповскому, прекрасно прожившему свою несчастную жизнь (поскольку знал несправедность ее, но в те поры подобное писали все или почти), зачем я вообще заочно наряжился в прокурора. На этом – точка. Я вычеркивать не буду, пусть мне будет стыдно и противно.

Ощущение причастности к народу возникает часто вдруг и неожиданно для дремлющей души. Порою принимая формы поразительные, и в одном подобном случае я оказался участником. Мне позвонила давняя приятельница и, чуть запинаясь, попросила, чтобы я помог ей захоронить прах отца, недавно умершего в Питере. А разговор наш – в Иерусалиме. Я потому и попросила именно тебя, сказала дочь, ты не будешь смеяться, узнав, в чем дело. Ибо речь шла не о захоронении, а о распылении праха в Иудейской пустыне – такова была предсмертная просьба. И была всего лишь половина праха – вторую он просил оставить в Питере, в котором прожил свою жизнь и обожал который. А был он физиком, талантлив был необычайно, много сделал для науки и империи, а кто он – осознал на старости, отсюда и такое ярое желание присоединиться к своему народу хотя бы частью праха. Было нечто символическое в нашем необычном действе, и сидели мы в машине молча, пока искали место, чтобы виден был оттуда Иерусалим – входило это тоже в просьбу к дочери. На склоне возле могилы пророка Самуила такое место отыскалось. Дочь вынула из сумочки старый школьный пенал, мы вытрясли из него горсть серого праха, ветер аккуратно унес его, развеивая по пустыне. Мы курили и молчали. Так советский физик разделил себя посмертно в две страны, чтоб обозначить свою любовь и причастность.

Об этой поразительной раздвоенности нашей некогда рассказывал Зиновий Ефимович Гердт. У них в театре был секретарь партийной организации некто Левин (за точность фамилии я нарочито не ручаюсь) – тихий, но активный человек, оголтелый, но незлобивый коммунист, усердный сеятель правоверного партийного мировоззрения. Но раз они поехали на гастроли в Лондон, и бедный Левин прямо на глазах сошел с ума. Во всех прохожих он видел евреев, и не просто опознавал их, а радостно сообщал окружающим. Он вообще сильно загрустил от впервые им увиденной западной жизни, и легко себе представить, что творилось в его преданном и недалеком сознании. А на какой-то улице сидел на стуле краснокожий индеец в головном уборе с перьями и столь же экзотически одетый, а при нем еще была какая-то нездешняя птица из породы попугаев – она тащила клювом из ящичка билеты с предсказаниями счастья. «Это еврей!» – закричал Левин, бесцеремонно тыча пальцем в направлении индейца. Тут его, естественно, подняли насмех, он обиженно замолчал и только долго оглядывался, когда они уходили. «Это еврей», – грустно и убежденно шепнул он Гердту. А в конце дня их всех – по просьбе того же Левина – повели обедать в известный еврейский ресторан, где Левин от обилия легко опознаваемых лиц совсем увял и только сладостно водил глазами. А в конце обеда в ресторан легкой походкой вошел тот краснокожий индеец, с панибратством завсегда громко сказал «шалом, хеврэ» (то есть «привет компании») и принялся за сразу же принесенную ему фаршированную рыбу. Легко себе представить восхищенную гордость Левина и посрамление не веривших ему. Но это – лишь начало той истории, что записал я, убежав как бы в сортир. После исхода Шестидневной войны у Левина возникло чисто клиническое раздвоение личности. Он обожал рассказывать об этой войне и начинал, прекрасно помня, что является секретарем партийной организации.

– Легко понять этих трудящихся арабов, – говорил он для начала, – они себе обрабатывают свои поля и посева, и вдруг евреи начинают по ним стрелять из винтовок...

Он возбуждался прямо на глазах.

– И тогда они берут автоматы и тоже начинают стрелять. И тогда эти...

– Кто эти? – спрашивал подвернувшийся Гердт.

– Евреи, – воспаленно отвечал Левин, – начинают стрелять из пулеметов! И тогда эти...

– Кто эти? – непонятливо спрашивал Гердт.

– Арабы! – огрызнулся Левин. – Они подкатывают артиллерию! И тогда эти...

– Кто эти? – невозмутимо спрашивал Гердт.

– Евреи! Тогда евреи садятся в танки и начинают наступать, и тогда они...

– Кто эти они? – спрашивал Гердт.

– Эти чертовы арабы, – Левин уже терял сознательность, – они стреляют из противотанковых ракет!

И тогда эти...

– Эти кто? – переспрашивал Зиновий Ефимович.

– Наши евреи! – кричал Левин с торжеством. – Они садятся в самолеты и разбомбливают все это к е.... матери!

После чего он остывал, приходил в себя, посматривал сконфуженно и вопросительно – с опаской, что сболтнул лишнего, пока опять не подворачивался слушатель с вопросом о течении войны. Гердт неизменно оказывался рядом.

Теперь, насколько я сумею, – о чувстве избранности, то бишь о пресловутой национальной гордыне...

Вообще говоря, чувство избранности (даже отчетливого превосходства) свойственно множеству народов. Более того – чем хуже у народа настоящее, тем светлее и величественней мифы и легенды о высоком прошлом и больших путях в истории. Мне как-то довелось об этом говорить с татарским националистом. Когда лопнул пузырь дружбы народов, ярким пламенем вспыхнули национальные амбиции почти везде, а так как всем жилось одинаково плохо и неприкаянно, то гордыня расцвела повсюду несусветная. А я в Казани приглашен был выступить перед почтенными людьми большого бизнеса. И приплелась, конечно же, евреи. Впрочем, многие из них были женаты на татарках. Я работал вместе с певцом и оркестром, так что, минут десять почитав стишки, я уступил им место, сел за столик, но не пил, а лишь прихлебывал, ожидая своей новой очереди лицедейства. Но оркестр все играл и играл, певец все пел и пел, уже пошли танцы, а я сидел трезвый, как дурак на свадьбе, и недоумевал, когда же меня свистнут снова. А после ухватил я за штанину пробежавшего мимо устроителя, и он сказал мне внятно и коллегиально:

– Ради Б-га, извини меня, забыл предупредить, ты можешь пить спокойно, им надо всего-навсего завтра сказать в своих конторах, что слышали Губермана, а стихи им не нужны, послушали и все, на гонораре это никак не отразится. Гуляй, старик, с тобой закончено.

И начал я наверстывать упущенное. Ко мне подсел немолодой интеллигентный татарин (ох, немного их там было!) и беседу начал с полуслова – будто мы ее прервали только что. Он сообщил мне, что по его глубокому убеждению, татары – великий народ, чисто случайно не вошедший в исторический канал, по которому пошли другие великие народы. Я не возражал, я наливал и опрокидывал. А главная тому причина, грустно и увлеченно повествовал непьющий собеседник, – она в том, что век за веком татары отдавали россиянам своих самых выдающихся людей. Они утекали в империю, печально и красиво сказал он. Историк Карамзин, поэт Державин, композитор Рахманинов, полководец Кутузов, писатели Аксаков и Тургенев – самые поверхностные, хоть и яркие примеры. Я сочувственно кивал. Тут на меня посыпались фамилии, о большинстве которых я и слыхом не слыхивал, потом он помянул, что татары на первом или втором месте по числу Героев Советского Союза (это в пропорции с количеством народа, то есть весьма значимо), но тут не удержался я и буркнул, что евреи – на третьем. Мельком я успел подумать, что надо следить за собой, ибо выпивка уже делала свое благое дело, а разговор со мной затеяли всерьез. Но было уже поздно. И когда меня спросили,

бывал ли я в музее Льва Толстого, и кивнул я снова головой, и собеседник торжественно спросил, а видел ли я слева в самом основании генеалогического дерева фамилию Баскакова, а он – татарин, я спросил вместо ответа, почему не посмотреть было направо, где еврей Шафиров обозначен. И собеседник мой исчез куда-то. Я решил, что он обиделся, и сокрушенно принял еще пару рюмок. Но тут он появился, весь сияя – подкопил, наверно, аргументы – жалко, я по пьяни все испортил сразу. Он еще и сесть не успел, как я ему сказал приветливо:

– Я тут подумал, знаете, и если все, что вы мне излагали, достоверно, то татары – просто-напросто одно из наших утерянных колен.

Он повернулся, мне ни слова не сказав, и не услышал я вследствие этого множества новых фактов. Но зато запомнил главное: еще один избранный Б-гом народ свято помнит о своем великом прошлом.

Множество таких же точно аргументов каждый, кто желает, с легкостью отыщет на страницах всех сегодняшних республиканских газет всех республик бывшего нерушимого Союза. Тут же рядом будет находиться такое поношение бывших братьев и соседей по империи, что душа будет болеть и одновременно играть от виртуозности раскрепостившихся мыслителей. А с каждой оскорбленной стороны течет такое, что словарь дружбы народов уже время составлять. И я уверен, что вот-вот появится еврей, который это сделает. От одного шедевра я не в силах удержаться – вот как говорят чеченцы, например (задолго до войны, что важно):

«Чечены и русские – братья, а осетины – дикие собаки, еще хуже русских».

Но вернусь к своим. Гордыня – это, прежде всего, чуткость к ущемлению. Чувствительность к обиде по национальной принадлежности, еще фантомной и предполагаемой обиде, и к выдуманной в том числе – присуща нам вне всякой зависимости от характера и интеллекта. Как-то раз моя приятельница Фира ездила в Америку погостевать у друзей. Но быть в Нью-Йорке и на Брайтон не сходить – впустую съездить, и вот уже сидит Фира на Брайтоне возле моря, а рядом – скопище жовиальных евреек советского разлива, снисходительно ругающих Америку за сухость душ и полное отсутствие культуры. Сама их речь – высокое свидетельство незаурядного культурного развития всех этих далеко не молодых, отменно корпулентных (если я правильно толкую это слово) дам. В прошлой жизни занимались они всяким – в том числе и торговали культтоварами или распространяли билеты в приехавшие на гастроли театры, так что им и карты в руки, я их вовсе не хочу обидеть. Я их много видел и беседовал не раз, я каждый раз, на Брайтоне бывая, что-нибудь хожу послушать, и обычно смех мой горек. Только я отвлекся. Услышав, что Фира из Израиля («откуда сами будете, дама?»), стали все ей задавать вопросы, на которые немедленно сами же и отвечали, Фира только поражалась их категорической осведомленности. Образовалась крохотная пауза, и Фира вставила в нее известные слова, что там, где два еврея, – три несхожих мнения.

– Кто это сказал? – грозно спросила одна из женщин.

– Черчилль, – пояснила Фира. – Уинстон Черчилль.

– Черчилль? – с невыразимой гадливостью повторила собеседница. – И что вы ответили этому антисемиту?

Жаль, что пока что не сыскался Бабель, могущий описать это уходящее поколение еврейских пришельцев – но, быть может, он уже растет и уже впитывает этот дух и эти речи? Хочется мне думать, что они не пропадут. Я как-то там (в плохом был очень настроении, хотел развеяться) услышал возле продовольственного магазина (как там солят, маринуют и коптят!) слова одной такой дамы в разговоре с подругой – слова, от коих испытал я чистое высокое счастье:

– И ты себе представляешь, – пылко говорила она подруге, – он сказал мне: идите на х..! А я ему тогда сказала: молодой человек, а я была там больше, чем вы – на свежем воздухе!

Теперь начну я как бы снова и как бы по порядку. С интереса нашего, сугубого и острого, ко всему, что относится к евреям, где бы и когда они ни жили. С интереса, который начисто пренебрегает неким общепринятым, разумным и естественным (ха! – на все эти три слова) порядком изложения любых сведений. Это ярче всего видно на примере старой (десятые годы прошлого века) Еврейской энциклопедии. Очень любил я некогда в застолье излагать цитаты из нее – не надо было никаких собственных шуток. Помню наизусть о Лондоне, к примеру: «Лондон – столица Англии. Основан в 1066 году, когда Вильгельм Завоеватель привез туда несколько десятков еврейских семей». И так про все на свете. Меня и всех приятелей моих весьма это смешило. Прошли годы, уже в Израиле я жил, затеялся какой-то чахлый семинар, куда меня позвали по ошибке, и на коллективном завтраке в столовой я вдруг вспомнил эту и подобные ей фразы. Засмеялись, помню, все, только один спокойно и серьезно сказал мне, что ему нисколько не смешно. Уже давно, сказал он так же ровно и неторопливо, все на свете он воспринимает с точки зрения причастности к еврейскому народу. Я смолчал, поскольку сильно ошарашен был внезапным ощущением, что я ведь тоже с некоторых пор воспринимаю многое в таком же искаженном ракурсе. А осознав, уже я этому и удивляться перестал. Все как бы сохранилось прежним, только сильно сфокусировался взгляд. Что вряд ли хорошо, но это есть. Сквозь эту призму по-иному я на многое смотрю, и пакость, совершенная евреями (а сколько же ее!), мерзее и больней мне, чем пакость, сделанная кем-то, кто вне этого сильно суженного взгляда.

Дина Рубина записала слова, однажды сказанные ей немолодым и невеликого образования человеком (уже здесь, в Израиле):

– Помни, деточка, – сказал он ей, – что самое хорошее и самое плохое на свете делается евреями.

Я не согласен с полнотой такого обобщения, но под словами о причастности нашей ко всему на свете, и к полярному по качествам притом, – я подписался бы обеими руками. Это мания величия и миф об избранном народе? Нет, я думаю, что это – отражение реальности. И потому так правы старики, перечисляющие со смешной гордыней фамилии знаменитых соплеменников, и потому так правы в очень многом люди, ненавидящие нас. И вновь я сбился, старый графоман, на ту высокую тональность, что никак мне не по чину, а важней, что не по нраву.

Искажена моя картина мира – всюду вижу я талантливых (пускай способных), с бешеной активностью евреев. Может быть, пойти в сотрудники в журнал «Наш современник»? Сколько бы я мог им рассказать!

Я в Лондоне гулял дней пять с женой, а после был с туристской группой столько же. И не запомнил ничего, кроме отменной фразы гида как-то утром. Он сказал:

– Вниманию женщин! Следующий туалет будет только в доме, где родился Шекспир! А моему приятелю завидно повезло. Он где-то на проспекте на огромный магазин набрел, где на витрине краской масляной было написано по-немецки – «говорим на немецком», по-испански – «говорим на испанском», по-французски – «говорим на французском». А на иврите там было написано – «для евреев – скидка». Кому это понравится, узнавши?

О взаимовыручке еврейской сколько ни написано – все правда. Далеко неполная притом. Поскольку множество веков евреи скидывались специально в помощь соплеменникам, которые нуждались в ней, и это продолжается по сей час. И ничего величественней этого я как-то не упомяну. В лагере в Сибири с завистью и уважением смотрел я, как немедленно сплываются люди с Кавказа. Сбившаяся стайка их немедленно и радушно принимала своего новичка – а что творили с новичками и друг с другом люди коренной национальности! Вернусь к своим, поскольку миф о нашей выручке взаимной – справедлив почти вполне. Почти, поскольку в памяти стираются мгновенно грустные истории вчерашней жизни – как евреи старались не брать на работу других евреев, опасаясь, чтобы их не заподозрили в национальном потакательстве и вообще чего

дурного не подумали. Таких испугов множество бывало – это характерно именно для растворенцев (не найду иного слова) – тех, кто жаждал слиться и прильнуть. Я еще слышал о тайно жидовствующих растворенцах – те, согласно мифам и легендам, резали безжалостно евреев на различнейших экзаменах, свою повадку мотивируя идеей, что еврей обязан знать предмет не на пятерку, а на шесть как минимум. Но это обсуждать мне неохота, я брезглив и забывчив.

Тут пора мне сделать отступление.

С некоторых пор есть у меня заочный собеседник, в глазах которого хотел бы я выглядеть, по крайней мере, хорошо. А как он появился в моей жизни – целая история, к этой главе никак не относящаяся. Ибо она – о торжестве той внутренней интеллигентности, которая порой бывает вознаграждена. То есть к моей сугубо назидательной тональности прямое отношение имеет. Я как-то выступить приехал в некий большой город (я все детали утаю, поскольку ни к чему они). И целый день я был свободен. Гулять по этому промышленному центру, доведенному годами советской власти до безликости из фантастических романов, не хотелось мне никак, и я проездил целый день в автомобиле своих местных импресарио, которые по разным поводам мотались по городу. По дороге я немножко выпивал, мне было хорошо и безразлично. А где-то на закате тормознули они возле двухэтажного складского вида помещения, пристроенного к жилому дому, и пошли туда, оставив меня в машине. Я выкурил, их ожидая, сигареты две и оглядел окрестности, поскольку писать очень захотел. По-маленькому было тут легко сходиться, не вылезая из машины, пешеходов не было почти, а рядом были даже кустики. Но я (по пьянке, видимо, поскольку раньше и потом я писал всюду и везде) подумал вдруг возвышенно и страстно, что я ведь не животное какое – нет, я человек, и я звучу гордо, и ничто человеческое мне не чуждо, и не буду писать я в кустах, как кошка, мама не тому меня учила. И я побрел на этот склад, я полон был высокого сознания своей высокой правоты.

А дверь толкнув, я оказался в неожиданно большом и светлом зале, где по стенам аккуратно на стеллажах стояли книги в диком множестве, в уютных выгородках сидели люди за компьютерами – такая была смесь отменно сделанного магазина и издательства. Я закурил – никто не стал мне делать замечания, и потому я сигарету тут же потушил и тут увидел, что сидевшие меня узнали: двое зашушукались, на меня глядя и улыбаясь, к ним подошел третий, а с лестницы, ведущей на второй этаж, спускался торопливо человек, явно направлявшийся ко мне. А я – непроницаемо и вдохновенно смотрел на книги. И лучше я пописал бы в кустах, печально думал я.

– Вы Губерман? – спросил меня подошедший человек.

– Да, это я, – ответил я с достоинством, – а где у вас тут туалет?

Потом наш диалог мы обсуждали столько раз, что вышло – я спросил про туалет, когда он только подходил, то есть повел себя, как Державин с Дельвигом при посещении лица, эта версия так льстит моему тайному тщеславию, что я согласен с ней, хоть видит Б-г – я был взаимно вежлив.

– На втором этаже, – ответил человек, ничуть не удивившись. – А потом зайдите ко мне в кабинет.

И я зашел, и протрезвел довольно быстро. Человек этот оказался владельцем замечательного издательства, и через полчаса я выходил оттуда с договором на трехтомник, а всего там вышло уже шесть моих книг. Мы подружились (смею я надеяться) чуть позже, когда выпили в Москве, а после – в его городе, где я на кустики возле издательства еще раз специально глянул, чтобы лишний раз подумать все о судьбе. Издатель этот – Саша – оказался человеком поразительной (прозрачной, редкостной) душевной чистоты. Забавно, что в Москве в один и тот же день я кратко перекинулся словами, проверяя впечатление свое – с женой и Гришей Гориным. Жена моя, сторожко относящаяся к людям, и Гриша (был он скептик и мудрец) – со мной единодушно согласились. Потому я так серьезно и воспринял Сашины слова, когда мы виделись в последний раз

недавно – вам, сказал он, Игорь Миронович, свойственна странная гордыня, я уже несколько раз слышал от вас различные слова об избранности вашего народа – вы всерьез так полагаете? По-моему, народы все равны.

Не стал бы я ни с кем вступать в бессмысленные споры, только тут почувствовал я настоятельную необходимость объясниться – что и сделаю сейчас, поскольку времени тогда не отыскалось.

Да, конечно, Саша, несомненно правда, что народы все равны, однако есть неодинаковость, которую никак не утаить. И в этом смысле – полон я гордыни, Саша, ибо явно некими чертами так отмечен, что, похоже, – избран мой народ. И в том высоком, что давно и всем известно, и в том низком, что присутствует с такой же яркостью. Ведь любому глазу очевидно, что у человечества есть яркие носители полярных качеств – на обоих полюсах отчетливо заметен мой народ. А избран – отношением к нему других, историей своей кошмарной, так что не льготы эта избранность означила, а тягости и смерти. А вернуться если к полярности человеческих качеств, то и на том, и на другом полюсе умножены душевные черты на нашу дикую активность и энергию, уж не берусь я обсуждать ее происхождение.

Опять в патетику я впал, а собирался что-нибудь снижающее пафос поведнуть. Вот о гордыне личной, например, – весьма одной запиской я горжусь, не помню точно, в каком городе я получил ее:

«Игорь Миронович! Я пять лет прожила с евреем. Потом расстались, и я с той поры уверена была, что я с евреем на одном поле даже срать не сяду. А на вас посмотрела и подумала: сяду!»

Когда заведомое отношение есть к какому-то народу, то оно такие тонкие ходы в мышлении внезапно роет, что даешься только диву, сколько творческого скрыто в человеке. Тут для коллекции большой соблазн, и я его, конечно, не избежну.

Тому назад двенадцать лет все было, как сейчас, – кидали камни, жгли машины, взрывали автобусы с людьми, а винил тогда весь мир – конечно, нас самих. И вот один французский журналист, расспрашивая пожилого араба о бесчинствах оккупантов, сладострастно все записывал – и как гонятся еврейские солдаты за невинными подростками, кидающими камни, и как жестоко разрушаются дома тех террористов, что и без того уже сидят в тюрьме за убийства, и все прочее из обиходного набора той поры. Но был французом журналист, и потому спросил, естественно, – а не насилуют ли эти злобные еврейские захватчики арабских женщин. И ответил без раздумий собеседник, что кошмаров много, но вот этого ни разу не было – нет, не насилуют. И с омерзением, презрительно сказал тогда француз:

– Какая ж это армия?!

История вторая – из Баку недавних лет. На синагоге появилась за ночь надпись на стене – русскими буквами:

«Евреи, не уезжайте, вы наши братья! А будете ехать – перережем вас, как бешеных собак».

В главу о странностях любви хотел я эту надпись поместить, но здесь она на месте тоже.

На международной конференции советологов (или славистов) это было. Двое россиян в беседе кулуарной поливали евреев на чем свет стоит, а их безмолвно слушал советолог (или славист) из Германии. Слушал-слушал этот немец двух коллег согласный диалог, потом не выдержало сердце, и сказал – как выдохнул, так страстно:

– Как я вам завидую, друзья, что вы имеете возможность говорить все это вслух!

Всплыла история, которую люблю на выступлениях рассказывать – она как раз об отношении других народов. Мои приятели в Казани – много уже лет назад – оркестр уличных музыкантов сколотили (по содержанию того, что исполняют). И стал он одним из лучших в республике, мотаются они все время по гастролям. Оказались как-то в небольшом городке, сыграли утреннюю репетицию в местном театрике – и вдруг сообра-

зили, что до вечернего концерта запросто успеют выпить и отоспаться. Быстро покидали они свои нехитрые инструменты прямо в скверике возле театра, закупили выпивку и загуляли с полным удовольствием. И тут из воздуха образовался некий местный гражданин.

– Ребята, – спросил он, – это вы у нас сегодня выступаете в театре?

– Мы, – признались музыканты и певец.

– А я смотрю, вы что-то все евреи, – поинтересовался гражданин.

– У нас оркестр еврейский, – пояснили оркестранты.

– А я евреев уважаю, – оживился гражданин. – Как ни возьми хороших музыкантов – все евреи. А ученые – там математики, к примеру, химики и физики – опять евреи. Как хорошие учителя – опять евреи...

А уже вовсю разливалась по стаканам водка. Хотите? – предложили гражданину. Разумеется, кивнул он головой. Взял полстакана водки и продолжил наскоро:

– А как хорошие врачи – опять евреи.

Выпил свою водку, заел ломтем колбасы, вздохнул и заключил свой монолог:

– Но хитрые, падлы!

Благодаря вековечно похожему отношению к нам других народов и еврейские праздники обрели постепенно некое общее звучание. Сын одного моего приятеля нашел точную общую формулу проведения всех еврейских праздников. Она проста. Ведущий говорит:

– В таком-то и таком-то веке такой-то и такой-то деятель решил известить еврейский народ до единого человека. У него ничего не вышло. А теперь давайте покушаем.

Как раздражает даже в мелочах наша активность, расскажу короткий эпизод с актером Леонидом Каневским (помните «Следствие ведут знатоки»? – это был пик его известности в Союзе). Он и сейчас еще подвижен и экспансивен – в молодости он был подвижен, как ртуть, говорил громко да еще жестикулировал. И в киевском автобусе он как-то разговаривал с друзьями. Очевидно, ему было хорошо и увлекательно, сыпались слова и двигались, им помогая, руки. И не выдержал шофер автобуса. Он выключил галдящее радио и замечательные в микрофон сказал короткие слова:

– Развязно себя ведете, Соломон!

Порою удастся уловить совсем случайно те штрихи, нюансы, отблески, что сопутствуют образу еврея в так называемом коллективном сознании. Как-то в Берлине моего приятеля попросили поговорить с некой женщиной, настырно утверждавшей, что она еврейка и поэтому община ей должна помочь. Он согласился с ней поговорить и, прежде всего, спросил, естественно, почему она уверена, что мать ее была еврейка. Потому что мать моя на Пасху всегда пекла мацу, ответила женщина.

– И как же она ее пекла? – спросил приятель.

– По закону, как все, – ответила женщина, – замешивала тесто, клала дрожжи...

Мой приятель чуть подернулся неосторожно, и женщина с готовностью сказала:

– Добавляла чуточку крови...

Я из романа своего «Штрихи к портрету» вытащу сюда одну историю, рассказанную мне старым эком. Было это в лагере на Северном Урале где-то в начале пятидесятых годов. В бараке вечером однажды завязался спор, какой национальности людей больше всего сидит по лагерям. Кто-то немедленно сказал, что русских, но его остановили, пояснив, что следует считать в пропорции к количеству этой нации во всей империи. Тогда кто-то сказал, что грузин – ибо кавказцев было много в лагере, но разные они собой народы представляли. Опытные эки быстро согласились, что, в пропорции если считать, то более всего сидит евреев. Пожилой украинец, молча лежавший до сих пор на нарах, услышав это согласное мнение, с омерзением сказал:

– Какая нация: всюду пролезет и своих протащит!

Эти дивные слова мне ключевыми кажутся и для споров об активности в революции, и при обсуждении количества Героев Советского Союза в войну, и для многого, многого

прочего. Забавно прочитать мне было как-то (в «Нашем современнике», естественно) о периоде борьбы с космополитами и дела врачей. Немыслимые выпали евреям унижения тогда: кто испугался, кто поверил, кто воспользовался. Вся та боль, нанесенная целому народу, рассосалась и растаяла вместе со временем. И вот уже мыслитель из почтенного публицистического дома пишет, об эпохе той вспоминая, что даже в те года, какой из списков ни возьми с лауреатами Сталинских премий – чуть не треть из них окажутся евреями – кто явный, кто не сразу угадаешь. Конечно! А куда же было деться от кошмарной этой нации, весь разум свой, все силы и усердие отдавшей этой дьявольской империи. Есть у меня одна угрюмая и еретическая убежденность: если б Гитлер свою ненависть к евреям придержал до некоей поры, то неисчислимое количество евреев так же озаренно и старательно работали бы на третий рейх.

Веский довод в пользу этой мрачной убежденности моей: нам свойственна беззаветная слиянность с духом той эпохи и того народа, где застали нас рождение и зрелость. Не случайно все века Арабского халифата, где евреи жили полноправно и спокойно, лучшие еврейские поэты и философы писали на отменном арабском языке, в Германии они такими стали немцами – достаточно назвать хотя бы Гейне, а в России так они восприняли дух разрушения во имя справедливости и счастья сразу всех, что страшно вспомнить их кошмарную активность. А понимал ли кто-нибудь из них, что обречен? Наверяд ли. Так же, как они навряд ли это понимали бы, трудись они на третий рейх.

А что касается нашей пресловутой житейской сметки (видеть наперед – ее естественное свойство) – я только напомню, как в тридцать девятом году Жаботинский распинался в голос, объясняя польским евреям, что из Германии идет к ним смерть и надо уезжать куда угодно. Был освистан, даже назван был фашистом сгоряча, сегодня вспоминать об этом дико и необходимо.

А теперь поговорим о нашей мрази – я бы с мелкой начал. В первые же дни приезда нашего в Израиль позвонил мне полужнакомый (виделись единожды) осведомленный доброжелатель и спросил, а были ли у меня за время литераторской жизни в России книги, почему-либо зарезанные.

– Ого-го, – сказал я радостно и горделиво. – Целых три, а если и статьи прибавить, то с лихвой четыре наберется.

– А за что их зарезали? – задал мне доброжелатель странный для меня вопрос.

– Как это за что? – спросил я ошарашенно. – Я ж тогда все умственные силы клал, чтобы сказать о советской власти все, что я о ней думаю. За навязчивые ассоциации, они тогда аллюзиями назывались, так что, в сущности, за попытку оклеветать наш дивный строй, они меня по делу резали, понять их можно.

– Вы забудьте это, – мягко посоветовал доброжелатель. – Напишите, что вас резали как еврея, что вы – жертва государственного антисемитизма, это очень вам поможет в получении различных льгот.

– Вы что, с ума сошли? – спросил я грубо. – Для чего же мне так низко лгать?

– Я вам добра желаю, – сказал доброжелатель с легкой обидой. – Я от всей души.

Еще потом он жаловался общим друзьям на мою хамскую неблагодарность. И был прав, конечно.

А мотив этот я вспомнил уже лет пять спустя в одном российском городе. Ко мне явился за кулисы местного театра некий средних лет еврей, знакомый моих знакомых, так что сразу доверительно попросил о помощи. Чем могу, ответил я с готовностью. Был у него посажен сын – по чистой уголовке – за растрату и за воровство, на коем схвачен был с поличным, – и ничем тут с очевидностью помочь было нельзя.

– Так чем же я могу быть вам полезен? – спросил я недоуменно.

– Вы сейчас такой заметный человек, – терпеливо объяснил мне горестный отец, – что вас может принять посол Израиля.

– И что? – не понял я.

– И можно возбудить скандал, что садят еврея, – человек даже понизил голос от уважения к идее.

Я уже все понял, но спросил на всякий случай с тупостью, простительной эстраднику:

– Но посадили ведь его за воровство, а не за еврейство?

Уже готов я был сказать различные слова, но человек на меня глянул и ушел. А привкус у меня от той беседы еще долго сохранялся.

Густ поток подобных спекуляций, и подробней говорить об этом – тошновато. Думаю, что меня уже поняли.

А что касается людей с размахом мерзости повыше, то у каждого народа есть своя такая мразь, и тут гордиться нашей избранностью мне никак не выйдет. Нет, я вру, и с радостью хватаю себя за руку. А про потоп сегодняшнего криминала что же ты забыл? И это правда. Я как бы должен осуждать неслыханный поток бандитов и воря, весь мир сегодня захлестнувший, выльясь с необъятных просторов первой в истории страны социализма, – что ж, если кто-нибудь настаивает, я их осуждаю. Хотя глупо осуждать естественные, как землетрясение, почти природные процессы. Снова среди этого потока – невероятное количество нашего брата, и я, о них читая, с несправедливой гордыней думаю порой: какие ж вы талантливые, падлы!

Я вообще хочу сказать, хотя греховность этой мысли сознаю, но я уверен, что обилие жулья с размахом – это веский признак живости народа в целом.

Нет, повторю я снова, мне ничуть не стыдно за слепых и воспаленных комиссаров тех далеких лет, не стыдно за людей, насквозь пропитанных тем гибельным высоким духом разрушения, что поразил тогда насквозь Россию целиком. Но неужели из сегодняшних никто не вызывает во мне чувство омерзения, а следовательно – и стыда за соплеменность? Нет, есть один. О нем я расскажу немедленно.

Он, несомненно, умный человек, поскольку таковым не будучи, никак нельзя играть того шута и агрессивного придурка, какого он давно уже играет, с бесцеремонной оживленностью суюсь во все дискуссии, проблемы и отверстия. Сейчас, по счастью, спала и затихла его бурная известность, а было время – в каждом зале города любого шли записки (штук по пять, по шесть) с одним вопросом – как я отношусь к Жириновскому и что я думаю о нем. Казалось бы, все очень просто: отношусь я к нему крайне плохо, а думаю и того хуже, потому что этот фюрер для бедных – натворить такого может, что Россия, ужаснувшись и опомнившись, немедля вспомнит о его еврействе. Но я, однако, иностранец, никаких советов я давать не вправе, а предупреждать и пророчествовать – вовсе глупо и бессмысленно. Я отделялся неким давним стишком, который по счастливой случайности подходил Жириновскому с полной определенностью:

«Среди
надутых
всегда
венец болотного творения».

болотных
газами
находится

пузырей,
гниения,
еврей
–

(Читать далее...)

И зал смеялся неизменно, а я тоскливо думал всякий раз: откуда же берутся миллионы, что голосуют за этого опасного шута?

Так повторялось много раз, и тут судьба решила поиграть со мной – подсунула мне встречу с Жириновским. Будучи в Москве однажды, пришел я в Дом литераторов на обсуждение последней книги одной замечательной негромкой писательницы. Забавно, что и книжка та была – о фашизме. Говорилось и о его перспективах в России. Будучи курильщиком отъявленным и злостным, больше часа я не утерпел и вышел покурить в фойе. Купил себе десяток книг в ларьке у двери (это существенная для дальнейшего деталь), положил их на стоявший там же столик и блаженно закурил, наблюдая краем глаза за книгами, дабы коллеги их не сперли. Кто-то подошел поговорить, и я услышал, что в соседнем (большом) зале происходит встреча российских писателей с Жириновским. Я, разумеется, остался его ждать, и сигареты через две он появился. Три тело-

хранителя в комиссарских кожанках плотно окружали его. А он – с его лицом и в мес-течковом картузе – смотрелся среди них, как пожилой еврей, арестованный за сокры-тие ценностей. Я подошел к нему и вежливо представился. Сказал, что я живу в Израи-ле, что литератор и мне жаль, но нету с собой книжки, чтобы подарить ему (а про себя подумал: и была бы – я бы тебе хер ее подарил), и что хотел бы увезти с собой его ав-тограф. Эту речь я вовсе не готовил, мне хотелось только поглазеть, и для чего я вдруг к нему поперся – сам не понимал я, и с немалым удивлением слушал, что мелю. И для чего

автограф?

Жириновский наклонился к невысокому плотному человеку средних лет – по виду явно литератору и устройтелю всей встречи, и тот быстро и жарко нашептал ему на ухо что-то хвалебное в мой адрес. Ибо с обаятельной улыбкой мне Владимир Вольфович ска-зал:

– Конечно. Давайте мне любую книгу, я вам с удовольствием распишусь. Таким он выглядел приветливым, наивным, кротким и простым, что я, за книжкою мет-нувшись, ощутил свое коварство, вероломство и творимую подлянку. Ибо я че-рез секунду возвратился с только что вышедшей тогда в Москве книжкой – «Дневники Геббельса». Я даже распахнуть ее успел: на Жириновского смотрел пустой белый лист, на котором как раз и ставят автографы. Глаза мои лучились чистотой и интересом к го-сударственному

мужу.

Но Жириновский посмотрел, какую книгу я принес, мне протянул ее обратно и сказал слова, от которых душа моя облилась блаженством, ибо я мгновенно себе представил, как сегодня же на пьянке буду их рассказывать друзьям, а мне не будут верить. Он

сказал:

– Вы знаете, я тут никак вам не могу поставить подпись, меня и так о нем все время спрашивают.

Я молча метнулся за другой книгой, это оказался Розанов, и Жириновский, повертев ее в руках и сомневаясь, поставил подпись. Книгу я привез домой. А вся история стала цветком в букете моих эстрадных баек. Ибо я рассказываю только правду, а она – на-много

ярче

вымысла.

Да, милый Саша, мы такой народ – даже способное отребье крупной масти мы постав-ляем

яркое

и

энергичное.

В Израиле заметно снижен наш накал. Дух левантийской беззаботности, беспечности и всякого такого – сильно овекает нас, и кажется порой, что все-таки еврею жизненно не-обходимо явное и тайное сопротивление среды. Нет, оно есть и тут, но тут оно совсем иное. Я довольно скоро по приезде эту ситуацию почувствовал, но сформулировать боялся, опасаясь, что незнание языка толкает меня к неверным обобщениям, на кото-рые я права не имею. Но однажды натолкнулся на статью раввина Адина Штейнзальца, одного из мудрейших людей нашего времени, и там я просто прочитал слова, которые не смел произнести даже во время дружеского трепа. Я сейчас большую выпишу цита-ту, лучше все равно я не скажу. И то, что выше я писал, тут будет лаконично и весомо.

Сперва Адин Штейнзальц отмечает нашу сложившуюся за века «поразительную спо-собность видоизменяться, приспособливаться, становиться похожими на тех людей, среди которых мы живем». Но, пишет он далее: «Наша адаптация – это внутреннее преобразование... Мы не просто обезьянничаем, а становимся частью этого народа... Это вызывает обиду и возмущение. У других народов складывается ощущение, что ев-реи... изощренно похищают у них душу и таким образом становятся их национальными поэтами, драматургами, художниками, а через некоторое время – устами и мозгом их народа. Мы становимся бо́льшими англичанами, чем сами англичане, большими нем-цами, чем сами немцы, большими русскими, чем сами русские...»

О, как я это знаю по собственным ощущениям! А в том числе – и по любви к России, ко-торая незыблемо во мне живет и болями сегодняшней России мучает. Теперь я очень далеко и лишь поэтому могу себе позволить вслух в своей любви признаться, там это

было стыдновато, там позволяли себе вслух об этом говорить (в корыстных целях – и кричать) только рептилии различного пошиба. Но продолжу.

Зафиксировав это уже общее место, пишет далее раввин Штейнзальц: «Основатели Израиля мечтали создать здесь новый тип человека... Этот человек, унаследовав духовное величие прошлого, должен был приобрести черты, которых, по мнению евреев, ему прежде всего не хватало, – физическую силу, прямоту, умение сражаться и сражаться хорошо, способность жить оседлой жизнью в своей стране... И они преуспели. По правде говоря, даже чересчур преуспели... Появилось поколение, у которого есть масса превосходных качеств. Но до чего же оно странное! Черты, которые считались типично еврейскими, – гибкость ума, утонченность, обширные знания, самокритичность – качества, которые были частью нашей сути, исчезли». Я разрывал пространный текст, чтоб обнажилась ярче горькая, пронзительная мысль статьи: израильский еврей – нечто иное, нежели тот образ, что сложился в нас за годы жизни в России. Удивительно емко и лаконично обо всем этом сказала дочь одной моей знакомой. Дочь сюда приехала пятнадцати лет, закончила тут школу, вольно и свободно чирикала и писала на иврите, полностью влилась в местную жизнь. И вдруг через шесть лет решительно собралась возвращаться в Питер. И на все разумные резоны матери отвечала полным с ней согласием. Но в чем же тогда дело? – обескураженно спросила мать.

И дочь, слегка подумав, ей ответила: – Но, мама, где же я себе найду здесь князя Мышкина? На мой взгляд, это сказано так точно, что любые комментарии только опошлили бы веский довод.

Из-за этого нам часто трудно здесь и часто ощутимо чужеродно. Даже несмотря на чувство дома, замечательно интимное чувство. Столь же мной владеющее до сих пор, когда я попадаю в Россию. Мне крепко повезло: душа моя, не разрываясь, ощущает родиной обе страны. Правда, российские квасные патриоты утверждают с давних пор, что евреи продали Россию, но так как я своей доли денег пока не получил, я числю эту родину своей.

А как изменится в Израиле наш облик дальше – не берусь гадать или предсказывать. Сегодня всюду множество пророков и провидцев – им и карты в руки. Я же лучше приведу слова одного своего знакомого, который держит в Иерусалиме магазин со всякой вкусной пищей, и внутри там на стене висит плакат с отменным текстом: «Евреи были, евреи есть, евреи будут есть!»

Уже идет к концу эта глава, и вспомнился мне бедный Лев Толстой. Всю силу гения своего отдал он нравственному улучшению – всеобщему и своему в том числе. И в процессе заведомо обреченных стараний этих будто бы (за достоверность не ручаюсь, лень было искать) он записал однажды где-то в дневнике слова печальные и твердые (я прослезился, их услыша, от умиления и сострадания к душе его великой): «Трудно любить еврея, но надо!»

Это, конечно, трогательно очень, только совершенно и категорически излишне. Лично вот меня любить не надо – я не доллар и не юная девица. Имею я огромное количество различных недостатков. Среди которых (не последний) – непомерная гордыня, что принадлежу к незаурядному и ярко одаренному народу.

Поэтому время от времени я закрываю глаза и с наслаждением слушаю безостановочное шуршание плавно текущего по свету всемирного еврейского заговора.

Зачем **евреи** всех времен. так Бога славят врозь и вместе?

Бог не настолько неумен., чтобы нуждаться в нашей лести.